

Будь хранима небесами,  
О родимая земля!  
Степан Шевырев

Русский очерк родился со святым крещением Древней Руси, с обретением славянской письменности и величаво воплотился в средневековых повестях, словах и житиях святых. Веками процветал очерк – путевой, портретный, социальный, природный – и лишь в нынешнее лихолетье, когда властвует мёртвострашная и скудоумная, информативная журналистика без Бога и царя в голове, очерк, увы, пылится на ветхом чердаке российско-го печатного слова, яко искусная крестьянская утварь, коя и в деле была ловка, коя тешила, грела душу красотой и умудряла Божественными вселенскими и земными образами и символами.

В былой царской, в советской печати вершинным жанром почитался очерк, который в ярких образах сближался, а порой и жанрово сливался с художественным рассказом, художественным повествованием, отчего и величался писательским. Такие писательские ...путевые, охотничьи, рыбацкие... очерки, порой неотделимые от лирических сказок, от бывальщины и байки, любились простонародными книжочками, поскольку в сказах события сказителем пережитые, осмысленные и художественно воплощённые. Будь то охота в таёжной глухомани, лов хариуса на речных быстринах, сплав по диким горным речкам, добыча кедрового ореха в Саянских хребтах.

Без охотничьей, рыбацкой бывальщины и таёжной байки тоскливы вечера у охотничьего и рыбацкого костра; благоухает сим устным сказам бродяги, охотники и рыбаки, переживающие немислимые тяготы, насады и гибельные опасности, не впадали в грешное уныние и отчаяние, примирялись в душе друг с другом. Без сказителя, баешника на рыбацком и охотничьем промысле живая погибел. Помнится, деревенский мужик поминал славного балагура-баешника: «В деревне дед жил, он поселенец был. Его брали на охоту, чтоб веселе было. Зимой же ночи долги. Вот он с охотниками по тайгам ходил. Ружья у него не было. Он с досточкой ходил. И вот сидят в зимовье вечером, мужики шкуры осмивают, куренги варят, а дед имям заливает: на досточку смотрит и быдто читат как по-писаному. А сам-то неграмотный был. Споткнется нарочи, переварнет дощечку на другую сторону и дальше врёт. У него свой пай был. Мужики добудут там что – ему пай».

В былые время я писал: «Любит байка, слово деда-наряжена, словестные кружева. И если нынешний анекдот едва нарождается на белый свет, как тут же в люльке и обрастёт бородой, то байка не стареет. Мудрая и вечная увеселяет русскую душу, пока она жива, русская душа. (...) Любит русский мужик потешить душеньку веселой байкой даже в самую горькую пору. Не все же слезыми упиваться да кулаками махаться».

\*\*\*

Герои путевых очерков – лихие таёжные бродяги, – вернувшись под теплым и уютным домашним кров после злосключения и мытарств по горным перевалам и гнилым болотам, после смертельно опасного сплава по диким рекам, зарекаются, что уже никакими таёжными, хребтовыми, речными красотами их в походы не заманишь. Ну да, зарекался бродяга сиднем сидеть на печи, протирать кирпичи... Заядлые таёжники задают мучительный вопрос: «Что за сила заставляет нас забираться в таёжную глушь, куда-нибудь подальше от цивилизации? Что за странная страсть – бродить с ружьём по лесистым склонам или рыбачить на горной речке, которой нет на крупных картах, и чьё название известно лишь местным жителям и бывалым таёжникам?..» (В.Киреев. Очерк «На Ходо-доме»). Намаеешь, уже мечтаешь о тёплом доме, телевизоре, зарекаешься, «что ни за какие пряники больше нигде не поедешь... Но прохидит неделя, и снова одолевает смутное неукротимое стремление» (В.Киреев. Очерк «Зимовье в истоке Киринья») опять кинуться сломя голову в таёжную глухомань, в край непуганных рыб, зверей и бичей... «Сидя в лодке под моросющим дождем, к которому ещё присоединился холодный порывистый ветер, я из-под завязанного капюшона глядел на своих товарищей, которые тоже гребли из последних сил, и думал: «А зачем все это? Для чего эти мытарства». И тут же сам себе давал ответ: «Как

ни странно, но некоторыми людьми движет такая довольно бесполезная в наше время вещь, как азарт... К этому примешивается желание узнать, что находится за поворотом реки или перевалом. Иногда из последних сил поднимаешься на какой-нибудь склон, чтобы только заглянуть за гору, кажется, и лес там гуще и зеленее, зверь не пуганый, и рыбы в реках больше»» (В.Киреев. Очерк «Мой друг Батю»).

Некий любомудр толковал: «В старину же ничего в лавке не купишь, всё – от кедрового ореха до медвежатины, от омута до рыжика-гриба – надо самолично добыть. Раньше охота, рыбалка, ягоды, грибы – не забава, не страсть чудачков, но ради

Анатолий БАЙБОРОДИН

## «Я - сын природы...»

О путевых, таёжных, рыбацких очерках и сказах

прокорма. Но теперь, когда прошли века и когда добыть прокорм можно и без таёжной насады (...) вспоминания о суровой заре человечества окрашены в романтический розовый цвет. Страсть к охоте, рыбалке, добыче грибов и ягод – смутное воспоминание детства человечества, а посему сладка и желанна эта страсть».

И на вопрос: какая сила гонит мужика в тайгу? восторженный в душе ребром, таёжник отвечает: гонит в тайгу охотничий, рыбацкий азарт, без коего жизнь пресна, и манит любовь к природе – дивному Творению Божию, без которой жизнь пуста и бесцельна. Маянт мужика таежные тропы и речные, озёрные зори... Слушаешь таёгу и чуешь, как властно влечёт рыбака предчувствие фarta, что



зависит не столь от дарования удильщика, сколь от бережённой рыбной щедрости рек и озёр, где бы любитель и без нынешней изощренности снасти мог бы наудить на варю, а иначе... уха из петуха. Но, переживая об укромных и уповистых речных перекатах и омутах, рыбак помышляет и о добыче ...рыбалка без улова, что уха без соли... и о первозданной древней красе, ради которой бредёт долгие версты таёжными тропами, карабкается по скалам, продирается сквозь заросли пойменного иванька, плывёт на резиновой лодке по горной реке, рискуя перевернуться на шиверах, расшибить лоб о каменные щёки, мокает, мерзнет, недодает, недосыпает.

Вдохновенный таёжник – охотник, рыбак, шиш-кобой и ягодник, а тем паче вольный бродяга – не палит душу жаждой наживы, но в душевном потае мечтает о сокровенной таёжной тиши, где обретается первозданная душа, словно в зелёной утробе матери-природы, а, народившись, тихо кружит в голубом небесном куполе, а потом среди призрачно сияющих звезд... И ты счастливы, что мимо тебя не ползёт угрюмый поток машин, обдавая угаром, что не торчит бельмом в глазу чадающая заводская труба, что окрест тебя лишь вольная тайга и звездное небо. Разумеется, не выжить нынешнему человеку, не устоять стране на ногах без труб и машин, но какое счастье, что не сидишь ты с удочкой на раскаленных плитах городской набережной, упершись взором в битком набитые людьми бетонные башни, а бродишь от переката к перекапу по бурной реке, обходя скальные прижимы.

Истинная хвала природному писателю, когда читатель не закатывает глаза, восхищаясь красивым слогом, но, когда произведение пробуждает в его душе, памяти, воображении картины природы, чтобы читательская душа сладко заныла, тихонько стронулась и потянулась сизым зоревым туманцем к таёжной тиши; чтобы иной читатель светло позавидовал писателю, легкому на подъём, и поскорбел, что отупляющая, опустошающая душу житейская колготня, пропади она пропадом, мёртвой хваткой держит судьбу в цепких когтях, что буреломом горюдасть поперек таёжных походов бесчисленные дела-делишки, коим не видать конца и края, что лишь дивом-дивным можно без-

лошадным и убогим вырваться из грешной житейской круговерти.

Вздорная баба костерила мужика-охотника: «Шляешься по охотам да рыбалкам, лучше бы дома работой занялся. Вон забор скоро завалится, а тебе и дела нет» (В.Киреев. Очерк «Утка»). Старая песня... В моём сказе «Блажь» размышления таёжного бродяги как ответ мужика ворчливой бабе: «Чтобы не дразнить мать, не пугать сибирскую крестьянку, недавно ставшую горожанкой, иркутянской, и по деревенской породе не теряющую праздности в тайге, сын не стал договаривать самого заветного, что просто будет жить в тайге корытенное отпускное времечко. Просто будет ходить, часами сидеть на замшелых колодках в глухой

урманной тайге, сидеть и слушать мягкую хвойную тишь, пахнущую грездами, прелью лонящей травы, мхами, чушачым багульником, можжевеловым духом». Живописуя тайгу, я воздал здравичу и таёжному костру: «А вечерами, прихватывая ночь, будет полёживать на сухом облыске под матёрой сосной и, поджигивая сучком костерок, станет слушать, как бурчит в глухом распадке ключ, то выныривающий среди чокч и высоких кустов голубичника, то опять пропадающий под землей. Скрадывая лешачье ворчанье ключа, будет следить омороченным взглядом, как растут и опадают синевае лопухи огня, ласково и вдумчиво обнимая приколоченную медную манерку, где уже запыхавшая вода, и вот-вот можно будет заваривать крепкий чай с брусициным листом и шиповником. И вдруг падёт на ум непостижимо простенькая, ясная мысль: «Господи ты мой милостивый, всюю-то жизнь бы вот так прожить! А то бгаем, носимся, словно с цепи сорвались, бьёмся, хлещемся как рыба об лёд, а зачем, почему – Бог вестит. Поди, оттого и носимся как угорелые, чтобы сжечь век побыстрому, света Божия не видим, устаём бегать в потёмках, избитые, извощенные. Да так и сжигаем век, не поняв, на какую потребу отпущена была жизнь и в чём счастье».

\*\*\*

Пожизненный бродяга, охотник и рыбак, я однажды осознал, что красоту природы, вольной, неистраченной своекорыстным человеком, надо

видеть вживе, ибо и величайший художник всех времен и народов напишет гениальный пейзаж, но лишь робко коснется душой и живописным даром таинства природы, сама же природа, Творение Божие, с нажитой за миллионы лет судьбой, – будучи во сто крат гениальнее самого гениального рукотворного пейзажа, – останется невмещающей в земную душу, неизъяснимой божественной тайной. Вселенская красота природы навечно чарует бродячую душу.



А без красоты душе не выдохнуть: глянешь порой на человеческую жизнь – тоска зеленая: вечная погоня... ладно бы, за скромным куском хлеба... за роскошью, и так до смерти; и вдруг покажется жизнь пустой и бессмысленной, что вроде и держишься за неё по звериной обычке, да заради детей, и бежишь... стремительно бежишь к жизненному краю, где, увы, навечно лишь огонь, сера и скрежет зубовный. Обыденный, засученный человек равнодушно бежит мимо красоты; ему, сломя голову бегущему к могилке, недосуд и охота к небесам взятая, когда уж созерцать; а и вздымет, то лишь погоду на завтра угадать, и ничего не увидит в небе, в поле, в лесу, в море. Вот природописатели в силу художественного дара и пытаются открыть обывателю мир природной красоты.

Даже если пейзаж в сочинении написан скупом, сдержанно, свойственно неговоривому таёжнику, но вживе видишь, ощущаешь природные картины, словно не герой, а ты, читатель, раскинулся на густой зелёной траве, «с наслаждением вдохнул всей грудью сырой речной дух, летнюю свежесть и сладость разомлевшей под солнышком земли...» (В.Киреев). И словно ты видишь картину за картиной... «...Машина пошла по каменистому берегу, потом по болотистой колее. Вокруг стояли чахлые березы, да высокие прогонистые ели, а все пространство между ними заросло ольхой и маральим корнем. (...) С правой стороны, где сижу я, вдоль дороги заросли багульника, поросшего мхом, лохматые пихты и стройные кедр. Мерно жужжали пчёлы и мухи, над дорогой стояло маэро, спокойно природы ничто не угрожало. (...) Слева от дороги показались две избушки на курьих ножках. Одна совсем сгнила, а другая была жилой, но очень уж маленькой и вросшей в землю. (...) Дорога привела нас в кедровую тайгу, устеленную зарослями кашкары и багульника. (...) Столбы деревьев пылили и плыли за спину, а конца им все не было и не было. Лес засасывал нас вглубь, заманивал, ничего не обещая, кроме ожидания свободы, раскатистого простора, и мы провалились в этот лес, и он уже вставал над нами, над нашими настроениями, и, стараясь не отпустить нас, одним порывом низового ветра пытался поднять густые пихтовые ветки. Еще чуть влажные осины придавали воздуху синеваеый оттенок. (...) Мы шли и шли, не запоминая дороги и не думая о том, как будем возвращаться, шли так, словно навсегда уходили в эту природу, словно там, на этом лесом, жалко нас что-то такое, к чему мы шли всю свою жизнь. (...) Отпянувшись, я увидел заросшие зеленым лесом горы, альпийские луга, глубокие ущелья. А верхушки гор, которые показались впереди, прямо перед нами, украсились снежными шапками. Возле камня на небольшой проталине распустились зальвейсы. Мы просто замерли от окружающей природы. Она заворожила своей контрастностью. (...) Ветер набрасывал свой ледяной запах дождя, смешанный с запахом хвойных лесов, альпийских полей и болот. Дождь долгал нас на крутом спуске и, словно за какую-то провинность, так исплестал, что нитки сухой не осталось на нашей одежде...».

\*\*\*

Таёжные походы, а уж тем паче сплав по горным речкам, это и созерцательное любованье вольной природой, это братичное сплочение душ, это и вершинное испытание прочности характера, как на поле брани. А сплав и похож на сражение с рекой. В очерке «Никогда» природописатель Владимир Киреев изображает сплав по свирепой саянской реке Додот, где случилась трагедия – утонули два

верных товарища Виктор Романов и Эдуард Парубаев, которым друзья на высокой скале соорудили памятную доску. Писатель, глядя «на зловещий водопад», с печально поминает друга Виктора: «...уже не придётся ему теперь отвечать в маршрутах ароматного таежного чая из старого мятого котелка. Не придётся уже выдернуть на мушку хариуса из тёмного и холодного ключа, не послушать глухариные песни и рёв изобер. Отдымимы его костры и утренние туманы по долинам таежных рек».

Таёжник таёжнику рознь, и скорбно, что иные прут в тайгу, словно в дешёвый кабак с пальмами в крашенных кашках. И я помню картину... Таёжные шатуны – грибки, ягодыники и орешники, битком набившие вагон, загородившие проход поньями и горбовиками, давно уже разложили немудрающий харч и, крикливо выпивая, зажёвывали сивущую горечь. Сойдут на глухом полустанке, до близких кустов добредут, и ладрь, ежели костерок запалит, закусу сношаст, а то хлещут сивухи, занюхают чёрстовой коркой и взревет, оглашенные, расплескивая ночную тишь: «Кто украл хомуты-ы?..». Эхо встряхнёт спросыня лохматой башкой, проворчит, покрутит пальцем у виска: де, разорались, оглашенные, а потом лениво ответят: «Ты-ы-ы!». Довольные мужики ещё брызнут в разноробную тару, и начнут выхлываться друг перед другом былой добычей, травить соромные анекдоты, а песельник, коему тошно слушать соромщину, вдруг затанет «Чёрного ворона»...

Помню, случай, когда денежные мужики забрались в тайгу на бездеходе, прихватив кроме охотничьего снаряжения ящик водки, ящик шампанского и аккордеон... Но буржуи за жиру бесятся, а мужики попроще, безлошадные, вылакают скудные запасы до сокровенной значки, пошлют молодца за бутылочкой вина, если даже до ближней деревушки неближний свет, а уж напоются, напачутся, так и рога в землю – повалятся в траву, как после намаева побойца. Утром похмелятся на другой бок и ...таёжники, едрёнов корень... вернутся в город с пустыми горбовиками и чумной головой. Может, и прикупят черники, брускины, у промысловых бичей, если до нитки не пропыются.

Но то ребята безобидные, страшнее дикого зверя двуногие хищники, кои на потребу гнусной утробы выпалстаи русскую тайгу, кои ответят Богу за лов рыбы взрывами, за безжалостный отстрел зверя на могучих машинах и даже вертолётках, что почитают за достоинство, не взирая самку ли на сносях завалил, мамку ли, пасущую чад. Благо, если «герой» осознаёт, что охота связана с убийством, и мучительно переживает даже то, что нечаянно убил самку крохалы, когда вокруг нее плавали утятя, не вставшие на крыло... «Я заглянул в ярко блестящие, с маслянистым отливом стволы и с укасающей неотвратимостью вдруг ощутил, как слезы подступили к глазам. (...) Я не испытывал ни радости, ни счастья от охоты, а только ненависть и отвращение от случившегося» (В.Киреев. Очерк «Утка»). Охотник далее ведает сказ, где главный герой – изобрёт с его судьбой, а человек – второстепенный. Во время гона изобрёт впервые за пять лет победил соперника, отвоюал звериное право продолжить род, но тут же и поби, обманутой охотником, что пробудил в звере инстинкт защиты самок.

Но читая природные очерки русских писателей нынешнего века, чуешь, сколько несчастья двуногие хищники, что страшнее свирепого зверя, сколь обездолены, ибо души их, окаменевши, сроду не ощущали тихого восторга от слияния с природой, со вселенной – Творением Божиим.

«На западе постветело. Из темноты постепенно прорезались скалистые контуры гор, поребрённые луною. Спят сиреневой дымкой сползал по склонам гольцов. Наконец показалась и сама луна... Она усмирится дерзкий блеск звезд, зажгла тысячи разноцветных фонариков на хвое, траве и, заглянув в реку, так и повисла, залобовавшись своим отбразением. Все утало в прозрачности, в нежном мерцании, в тонком колорите. Какое неизъяснимое наслаждение быть в плену у первобытной природы, зримо ощущать ее величие, чувствовать ее прикосновение, дышать ее жизнью. (...) Места здесь дикие, почти не хоженые людьми. Глухомань, в которой живут только звери и птицы. Я смотрел на звездное небо, на бездну огромного пространства, обнимающего погруженное во мрак полушарие земли, и понимал, что я – сын природы и обязан строго блюсти ее законы» (В.Киреев).

поправлял своё здоровье и, наконец, написанный в студенческие годы песня «Бумажная чайка», позже доработанная и ставшая одной из любимых в кругу моих слушателей. Таким образом, шаферановская ласточка и та самая «ваншиная», как мы её называли, чайка навсегда вошли в мою душу, став для меня самыми главными песнями, потому как от них и грустно, и радостно одновременно. Это же как молитва, но только попроще, подоступнее, поприземлённее что ли...

Впрочем, кто знает, где она, да и есть ли эта самая грань между возвышенным молитвенным и простым земным словом, но произнесённым с верой и чистой, неподдельной надеждой и любовью...

У Чёрного у моря  
Есть город Евпатория,  
Каштаны и акции  
Встречают там весну...

У Чёрного у моря  
Не будет больше горы,  
Каждое такое города  
Стоят на берегу.

И проплываю корабли  
Теплоходной лодкой вдали,  
И в небе белый самолёт  
Висит над морем.

Бумажный голубь у меня,  
И я его забавы для  
Пуускаю с крыши  
Вдоволь надышаться солью.

И, сделанный неважно,  
Летит вперёд отважно  
Мой голубок бумажный,  
Мой белый самолёт.

И знаю я, что вскоре  
Он станет чайкой в море,  
И где-то мальчик Ваня  
Её в песке найдёт.

Он принесёт её домой,  
И станет чайка вновь живой,  
А утром, когда солнце  
Встанет, встание море,  
Он к сердцу белую прижмёт,  
Тайком на берег отнесёт  
И выпустит опять её на волю...



Терентий ТРАВНИК

## «Ты лети, лети, ласточка моя!»

Новелла

уместна сегодня на страницах моей новой книги:

Иду в любви, касаясь нежно трав:  
Душою бережно лелею, осторожно.  
Весь мир – живой!  
Я чувствую в руках –  
Земную силу, знаю: всё возможно!

Вообще-то ласточка – птица особенная: хотя и близка она к человеку, но свободна, как и душа, обитающая до поры до времени в теле, но готовая его покинуть, чтобы устремиться в вечность. Несмотря на кажущуюся свою независимость, ласточка действительно живёт с людьми, но в отличие от голубя, воробья и синицы не умеет передвигаться по земле, а потому принадлежит небесам. Можно сказать, она посредница между землей и небом: вестница, гостья, а иногда, как и синица, – вместилище души усопшего.

Много лет подряд ко мне на дачу в Жамочино-Крапивне каждую весну прилетают ласточки. Когда-то они свили гнездо прямо над входом в дом, под навесом между его крышей и фонарём-лампой, там они и селятся, выводят птенцов. Удивляю их доверчивость: иногда они покидают гнездо и сидят неподдельно на проводе, а то и на простой верёвке, протянутой от дома для хозяйственных нужд настолько низко, что можно потрогать птиц рукой.

в стихотворении «Блокадная ласточка», написанном ленинградской поэтессой Ольгой Берггольц:

Маленькую ласточку из жести  
я носила на груди сама.  
Это было знаком доброй вести,  
это означало: «Жду письма».  
Этот знак придумала блокада.  
Знали мы, что только самолёт,  
только птица к нам, до Ленинграда,  
с милой-милой родины дойдёт.

Уже в старших классах в сочинении «Никомахова этика» Аристотеля я вычитал: «Одна ласточка не делает весны, так же как и за краткое время не делают счастья блаженными и счастливыми». Мысль эта запомнилась и позже, когда я постигал многие знания, то не доверял скоротечным выводам и настроениям, а старался собирать факты, проанализировать и закрепить всё в жизненном опыте. Из шекспировской трагедии «Макбет» узнал: «Где она (ласточка) живёт, там воздух, я заметил, особ чист». В поэме «Боярин Орша» Михаил Лермонтов представляет ласточку олицетворением подлинной жизни:

И он увидел: у окна,  
Заботой резово полна,  
Летала ласточка – то вниз,  
То вверх под каменный карниз  
Кидалась с дивной быстротой  
И в щели пряталась сырой;  
То, взвизвись на небо стрелой,

Тонула в пламенных лучах...  
И он вздохнул о прежних днях,  
Когда он жил, страстям чужой,  
С природой жизнью одной.

Да, всё это верно, но моя ласточка была и остаётся другой – доброй и верной, остаётся символом той опасательной надежды, которая навсегда поселилась в моем сердце благодаря изумительной песне композитора Евгения Крылатова на стихи Игоря Шаферана, которую я сотни раз пел на всех семейных торжествах:  
Не прошла зима, снег еще лежит.  
Но уже домой ласточка спешит.



На ее пути горы и моря,  
Ты лети, лети, ласточка моя!

Нет порою сил, труден перелет,  
Только как весна без нее придет?  
На ее пути горы и моря,  
Ты лети, лети, ласточка моя!

Будь ее гнездо трижды золотым,  
Тот далекий край не назвать родным.  
На ее пути зоры и моря,  
Ты лети, лети, ласточка моя!

Не прошла зима, и земля бела,  
Но уже вдали машут два крыла.  
На ее пути зоры и моря,  
Ты лети, лети, ласточка моя!  
На ее пути зоры и моря,  
Ты лети, лети, ласточка моя!

Не прошла зима, и земля бела,  
Но уже вдали машут два крыла.  
На ее пути зоры и моря,  
Ты лети, лети, ласточка моя!

Впрочем, не совсем так! Жили-то мы прямо на берегу Москва-реки, а значит, ходили рыбачить, и чайки – теперь вспоминаю – летали над водой и ловили рыбу. Да, точно! Они были совсем другими – не такими неуклюжими, как московские голуби, и не суевливыми, как городские воробьи.

Пока папа насаживал на крючок жирную москварековскую тинну, и забросив снасть, подолгу вглядывался в поплавок, сделанный из гусяного пера, я разглядывал чаек, вольно и красиво парящих в небе... Иногда птицы плохались в реку и хватились рыбины, в основном плотву, которая дёргалась в их крючковатом клюве, сияя ослепительным серебром на солнце... Это вызывало у меня какое-то неподдельное восхищение, и тогда я забывал про всё на свете.

Потом был Крым, жизнь в санаториях города Евпатория, где я не один год